

ЛАКАЙСКАЯ ЛЕГЕНДА

№ 84 Известия 9.4.73

урожай убирал той бесхитроуно «сельхозтехникой», обмолачивал цепою и молот зерно этими ручными жерновами.

В ДЕРЕВНЕ Сантака говорят так: «Мало нам было одного чудака — еще и другой припожаловал!», имея в виду, во-первых, старого Игнацюса — Игнаса Шилькиниса, а во-вторых... меня! Ну что ж, раз люди на селе окрестили тебя так, ничего уж с этим не поделаешь. Да и что плохого в этой шутке?

Меня, городского жителя, всякий раз зовут сюда река, охота, давняя и прочная привязанность к этим местам, здешним жителям и, конечно же, радость встречи с удивительным стариком Игнацюсом. Да и меня ли одного? Сюда приезжают люди со всей Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и даже из Москвы и Ленинграда. Едут на велосипедах и машинах, плывут на байдарках и моторках.

Со стародавних времен не найти у нас такой деревни, где бы не было хоть одного диковинных дел мастера, чудака и затейника. Не будь его — кто бы снабжал ребятишек резными пташками-свиристелками, которые в детских губах заливаются, будто заправские пернатые? Кто награждал бы земляков причудливыми фигурками, еще пахнущими лесом, деревянными блюдами и жбанами, затейливыми глиняными кувшинами, в которых пена над пивом, как творожные горы? Кто на дожинках или на свадьбе голосом тонким, как стебель хмеля, заводил бы песню, словно летящую к самым звездам? Кто в вечерние часы залиистой гармонью бередил бы сердца влюбленных парней, кто из старой поцарапанной скрипки извлекал бы трели, соперничающие с самим соловушкой? И отчего только истари слывут эти люди чудаками? Не потому ли, что, живя бок о бок с односельчанами, вместе с ними трудясь на пашне и на лугу, несут они в своем сердце еще и пронзительную мечту о красоте и заворачивают, увлекают за собой других к неведомым просторам и далям?... Чудаков этих у нас любят и ценят. И особенно таких, как Игнацюс Шилькинис. Я радуюсь и горжусь нашей с ним дружбой, считаю его своим земляком и собратом.

Давненько очутился я впервые в этих лесистых местах. С тех пор, закинув удочку на плечо, исходил здесь все роши и чащи, лужайки и полянки. Лет двадцать назад в прозрачных, как вешнее небо, лесных речках и ручьях этого чудесного уголка Литвы можно было выловить даже переливающуюся радугой форель или хариуса. Теперь приходится довольствоваться капризными голавлем, голецом, язем или обомшелым окунем из глубокой заверти. От всепобеждающей техники передуло рыба бжема, притихли птичьи хоры. И все-таки здесь и по сей день можешь послушать чистую, как утренняя росинка, мелодию дрозда, телеграфную дробь лесного санитаря — дятла. Растянувшись на лужайке, упивайся запахами лесных цветов и трав, лови нежный шорох крылышек мотылька и усыпляющее пчелиное жужжание. И, положив руку на землю, ощущай стук ее зеленого пульса. Из такого похода никогда не вернуться без рыбачьей добычи — непременно принеешь в сумке хотя бы одинокого голавля да новое стихотворение в блокноте. Людям, живущим в стремительном темпе городов, все нужнее становятся ритмы шепота сосен, шороха ржи, посвиста ветра, перезвона дождя, плеска рек, ручьев и озер. И важно не нарушить гармонию ритмов исконной природы с той второй, рукотворной природой, которую мы зовем цивилизацией. Раз уж поэзия взялась служить человеку, она и здесь должна ему помогать. Она и ищет этой ритмической гармонии. Наверно, потому позвал меня в эти края зеленый голос земли.

...Еле успел окраситься малиновым соком восточный склон неба, едва умолкли сельские скандалисты пету-

Эдуардас МЕЖЕЛАЙТИС

хи, на липе, загораживающей целый угол моего домика, голосом тончайшего серебряного ажюра отозвался мой ежедневный опекун — дрозд. Он-то и не дает мне понежиться в постели, сразу будит — пора, мол! Набиваю трубку, беру свою удочку. На пороге уже беспокойно поджидает меня огненно-рыжий сеттер, так и врется к лесной речке. Выхожу в надежде опередить соседа. Избы наши, как столетние старцы, переглядываются подслеповатыми окошками, будто сквозь прадедовские очки. А Игнацюс, опершись на палку, уже стоит у себя на дворе под березой. И дерево высокое, серебристое, и Игнацюс — рослый, по сей день стройный, с серебряной сединой, и лет каждому под сотню — и не разберешь, где кончается березонька и где начинается мой сосед. Стоит он и любуется звонким, росистым началом дня.

— Доброе утро, — кричу через забор. — Уж не всю ли ночь напролет звезды считали, что в такую рань уже на ногах?

— Чего мне их считать, — обнажает сосед в улыбку длинный поружевший зуб. — Все звезды смолду от единой пересчитал. А если теперь какая-нибудь новая объявилась — пусть ее приплюсовывают те, кто помоложе. Ночью тут кабаны приперлись, расхрюкались. Я и вышел постеречь, чтоб картошку не перерыли. А потом уж сон не шел. Ну и утро — красота! Как юность человеческая!

Прячась в листве, дрозд нанизывает бусины длинной мелодии. Старик, подняв глаза к макушке липы, прислушивается. Видно, о многом напомнило ему это хрустальное утро.

— А вы — на речку? — спрашивает Игнацюс. — Вечером загляните. Кое-что припас вам показать.

— Зайду. Обязательно!

И мы с огненным сеттером по росистому лугу прокладываем тропу к речке Лакая. Подхожу к своей любимой заверти. Над берегом растекается густой белесый туман, который тут целыми холстами наткала звездная ночь. В заверти суетливо плещутся плотвички и уклейка. Видно, щука вышла на промысел. В прибрежных камышах похрустывает пластмассовыми крылышками стрекоза. Квакает лягушка. Разворачиваю, закидываю свою удочку — красный поплавок подмигивает, будто глаз жар-птицы. Сеттер уже обследовал все окрестные кусты. Теперь он укладывается возле меня. Достая блокнот, присаживаюсь на траву и упираюсь рукой в землю. Чувствую, как в ней бьется вешний пульс земли.

С рыбалки — к соседу. Шилькинис раскладывает на столе пасьянс — пожелтевшие фотографии. То-то он утром толковал про юность! Со снимка, который мне протягивает Игнацюс, на меня глядит статный красавец — ни дать ни взять правнук Шилькиниса. Верхом на верблюде...

— Как прослышал я, что в Вильнюсе фотографию открыли, бросил все, и — туда! Обучаться этому хитроумному искусству. Потом вышли первые фильмы. Конечно, немые. Поехал я проситься в киноактеры. Приняли меня и с целой труппой повезли в Туркестан. На съемки...

Нет, этого из его биографии я еще не знал. Молодой Игнацюс уходил из дома, увлекаемый неумной мечтой, извороженный неустанным движением жизни вперед, к новым открытиям и изобретениям. К новым ритмам! И опять возвращался в свою Сантаку, под отчий кров. К пашне и плугу. А дома снова не давала покоя загаенная, заветная дума — что бы сделать такое для родного села, чтобы отли-

чило Сантаку чем-то особенным, неповторимым?

Сосед рассказывает. А я блуждаю взором по его жилищу. Вдоль стен с музейной методичностью расставлены столы. На них нумизматика: литовские, польские, русские серебряные монеты, старинной чеканки. А на стенах — потемневшие картины, портреты и прочие древности. Коллекции охотничьей снасти и ветвистые короны лосей и оленей.

Все это — остатки феодального прошлого здешней округи. Можно себе представить, как перекатывалось эхо в чудесных чащах Лабанораса, разбуженных призывом голосистого охотничьего рога, сколько пороха поглотили эти развешанные здесь ружья, поражая лосей, кабанов или косуль, как в руках спесивых шляхтичей сверкали эти стальные клинки, мирно украшающие теперь дом сельского коллекционера.

А вот и другие экспонаты: — На этом кресле, — говорит сосед, — сживал замечательный поэт-демократ Сырокомля-Кондратович. В одном поместье я нашел целую груду его рукописей. Смолду зачитывался стихами Сырокомли. Все казалось — про меня там написано, про сермяжного деревенского пахаря...

Есть у Шилькиниса еще и другой выставочный зал. Под самой крышей. Чуть дрожащей рукой зажигает Игнацюс свечу, и мы с ним взбираемся по узкой, крутой лестнице. Глядя с улицы на позеленевшую кровлю, и не догадаешься, что здесь собраны такие сокровища.

Весь чердак заставлен, загроможден хозяйственной и домашней утварью, тут все житье-бытье патриархального села. Начиная с подковного гвоздя, сделанного в местной кузне, и с незатейливой крестьянской сбри — седел, попон, недоуздров, шлей. Но мое внимание прежде всего привлекает деревянная соха, какой еще несколько десятилетий назад пользовались общинные пахаря этих песчаных и лесистых мест. И плетеное лукошко, из которого сыпали семена в скуповатую почву. И каменная ступа, в которой толкли крупу. И ручные жернова, которыми мололи мучицу. И деревянные чаны — в них хранили зерно и изредка солодили пиво... Да, в основном эта «сельхозтехника» была деревенской. Прошлый деревянный век литовской деревни...

И еще один красноречивый экспонат: посох с прикрепленной дощечкой. При мне один юный посетитель этого самодельного музея обрадовался, когда из груди предметов извлек это своеобразное приспособление:

— Это вы кормушку для птиц сделали, дяденька? — обратился он к Игнацюсу. Кругом стояли и другие любознательные подростки.

Шилькинис с улыбкой отрицательно мотнул головой. И повел неторопливый рассказ:

— В голодные годы шли, бывало, наши мужички в самые дальние места за хлебушком — вот с такими палочками. На последние гроши — наберет крестьянин в мешок зерна, взвалит на плечи и шагает домой. Сам голодный, силы на исходе. Много верст еще ему обломать. А дома ждут не дождутся кормильца. Устанет мужичок — ему бы присесть, скинуть с плеч нелегкую ношу. Да ведь чего доброго — скинешь, а взвалить на спину уже и не сможешь. Вот тогда упрет он посох в землю и легонько спустит мешок на дощечку-подставку. Передохнет малость, пот со лба утрет и дальше путь держит. И посох с собой заберет, свою палочку-выручалочку... Не всегда хлебушко был такой доступный, как сейчас, когда машины людям помогают, и все мы, как одна семья, и нет над нами бар и богатеев.

И еще расскажет Игнацюс, как он сам в давние времена пахал, саял и

Затаив дыхание, слушает его молоддежь, рожденная в обществе, не знающем классовой розни, в дружном коллективном хозяйстве, и как бы проходит наглядную школу истории. Ведь в избе у Шилькиниса все у тебя перед глазами — и столетний Игнацюс, словно вышедший из глубины веков, и горница с картинами жизни панов — феодалов, и этот чердак с памятками крестьянской нужды. Как может не убедить такое сравнение? Такое сопоставление деревянной сохи с колхозными тракторами и комбайнами, которые сегодня грохочут на ближних пашнях?

Но Игнацюс хочет еще, чтобы его посетители помнили, как простой поселянин, которому, бывало, и хлеба с мякиной не хватало, и в те времена не терял своей природной смекалки и одаренности. Доказательство тому — не только добытая Шилькинисом эта маслосбойка, давным-давно придуманная хитроумным сельским «рационализатором». Лучшее свидетельство неугасимого таланта тружеников, их извечного стремления к красоте — подлинно художественные произведения народных умельцев. Неведомый сельский мастер из обыкновенной кожи сделал фигурки-портреты. Съежились от долгого времени кожаные человечки, но какая гамма чувств сохранилась на их лицах!

За свою долгую жизнь Шилькинис собрал такое множество исторических и этнографических экспонатов, что около тысячи из них подарил Каунасскому историческому музею, а несколько сот — этнографическому музею родного Швенченского района. А остальное — здесь, в Сантаке.

Заяв под экспонаты всю избу, он оставил себе с женой только место для стола, стула и двух кроватей.

...Стою на рыбачьем посту — с удочкой у речки. Оглушительно лает сеттер — значит, кого-то жди. И действительно, вскоре раздаются голоса, и за поворотом реки появляется несколько байдарок. Бородатый мужчина, — видно, капитан речного каравана — обращается ко мне по-русски:

— Далеко отсюда до усадьбы Игнаса Шилькиниса?

Объясняю: нет, совсем близко; узнаю, что они совершают поход к Лакайским озерам, но по дороге обязательно должны побывать в необыкновенном сельском музее.

— А вы откуда? — Из Белоруссии!..

«Сантакой» — «Слиянием» деревня названа потому, что здесь речка Лакая впадает в Жеймяну. Под сенью высоких берез стоит тут столетняя усадьба Игнаса Шилькиниса, к которой не зарастает народная тропа. В прошлом году у моего соседа побывала тысяча посетителей.

Широко распахнуты двери этой необыкновенной избы. У нее есть что рассказать своим многочисленным гостям. Как и у ее хозяина, прожившего такую долгую жизнь. Впрочем, он сам немногословен. Он предпочитает рассказывать вещам, которые добыл с таким усердием. А когда рассказывают вещи, это особенно убедительно и наглядно.

Но нам, его соседям, ясно, что рассказ этих вещей создан Игнацюсом. Добился Шилькинис своей заветной цели — прославил родную деревню, одарил ее щедрым даром. Вложил в эти «преданья старины глубокой» свое большое сердце. Свою любовь к людям-труженикам.

Заливается на липе мой дрозд. А там, за изгородью, среди осанистых белоствольных берез, расхаживает в холщевой рубаше белый, как лунь, как березонька, мой прославленный сосед. Почти сто лет за плечами, а он еще силный, статный, высокий. Как эти деревья, вместе с которыми он вырос.